

РАЗБИВАТЕЛЬ СТЕКЛО

АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ

Философ, историк русской философии. Кандидат философских наук.

Зам. декана философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.

*Член редколлегии Полного академического собрания сочинений и писем Вл. С. Соловьева,
член редакционного совета портала «Русская Idea».*

«Бываю писатели с невыразимо печальной судьбой, неузнанные, непонятые, никому не пригодившиеся, умирающие в духовном одиночестве, хотя по дарованиям, по уму, по оригинальности они стоят многими головами выше признанных величин». Эти слова Николая Бердяева о Константине Леонтьеве, сказанные больше 100 лет назад, можно повторить и теперь об одном из самых загадочных мыслителей XIX века. «Болярин Константин» и «монах Климент», он учился философии истории у безбожника Герцена, а смирению у афонских и оптинских старцев, в лицо бросал упрек в «ненадежности» Толстому, недолюбливал «розовое христианство» Достоевского, предлагал «изгнать из пределов Империи» Вл. Соловьева. Он был их современником, жил, творил, любил и презирал и отвоевал себе совершенно особое, неповторимое и даже исключительное место на просторах русской культуры.

«Одинокий мыслитель», «неузнанный феномен» — метафоры, навсегда сросшиеся с образом Константина Леонтьева, как и «не по чину барственная шуба», запечатленная на одном из его портретов. Справедливость этих метафор несколько не зависит от количества переизданий или заш-

каливающего числа диссертаций, посвященных когда-то табуированному имени. Мыслитель, основные идеи которого могут быть изложены, в общем-то, на одной странице и легко классифицированы в истории философии где-то между стоиками и пессимистами, создает своим необыкновенным стилем, энергетикой своего текста ощущение небывалой многозначительности, масштабности, тянущей на целое мирозерцание. Но единомышленниками его никогда не будут большинство читателей, ведь и сам пафос его мысли — аристократичен, антиэгалитарен. Восхищаться им, обожать его всегда будет небольшой кружок друзей, умеющих совместить в себе «эстетизм» и «православизм»: вот в чем причина его «неузнанности» и «одиночества». Для обоснования «консервативного поворота» и государственного строительства политики с полки снимут Ивана Ильина, а не Константина Леонтьева. Но зато друзья его,

эти немногие, пребудут с ним до конца.

Константин Николаевич Леонтьев родился в селе Кудинове Калужской губернии 13 (25) января 1831 года семимесячным. Мать его, Феодосья Петровна, в девичестве Карабанова, выпускница Екатерининского института, дочь генерала, вышла за отставного прапорщика, выгнанного из

ЧТО СКАЖЕТ ЛЕОНТЬЕВ
НАШЕМУ ВРЕМЕНИ?
ЧТО СКАЖЕТ ВРЕМЯ
О НЕМ? СОВПАДЕТ
ЛИ «ТВОРЧЕСКИЙ
ЛАНДШАФТ» ЕГО МЫСЛИ
С «ЛАНДШАФТНЫМ
ДИЗАЙНОМ»
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?



гвардейского полка «за шалости». Родила шестерых детей. Муж был склонен к кутежам и разорил имение. Тут подвернулся сосед, «в модном светло-коричневом сюртуке тридцатых годов, в золотых очках. Лицо чрезвычайно тонкое, красивое, нежное, слегка румяное; русые волосы выются на лбу и висках, как у всех щеголей того времени». Дал денег, чтобы спасти недвижимость. Завязался роман. Обручальное кольцо было в буквальном смысле раздавлено, муж получил фактическую отставку... Леонтьев запишет в «Хронологии моей жизни»: «Отец мой (Василий Дмитриевич Дурново) умер в 1833 году. Я его, конечно, не помню». О человеке, давшем ему свою фамилию и бывшем его «законным отцом», Леонтьев ничего хорошего сказать не мог. Он «был из числа тех легкомысленных и ни к чему не внимательных русских людей, которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен»; «к самому отцу и к его смерти был совершенно равнодушен».

Племянница Мария Владимировна, помощница в трудах и спутница в странствиях, вспоминала: «Рос он всё между женщинами; его наряжали, завивали, духами душили. Все детство он провел в деревне, но его воспитывали так по-женски, что он долго не знал, что такое значит ездить верхом». Одинокое детство (другие братья и сестры были старше и уже разъехались на учение) рождало поэзию усадебных мечтаний: «Воображение у К. Н-ча было очень большое. В доме у него были свои таинственные комнаты, населенные только ему од-

ному известными людьми, созданными его, хотя и детским, но уже богатым воображением... Кукол у него было много, и каждой из них он давал имена совершенно фантастические». Скептицизм отца покрывался не слишком набожной, но искренней религиозностью матери, и особенно тетки, открывших мальчику мир псалмов и молитв, эстетику вечерних богослужений в длинной зале кудиновского особняка. Рассказывая о своем обращении, пережитом в сорокалетнем возрасте, Леонтьев запишет с точностью медицинского рецепта: «Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру».

Впрочем, обращение Леонтьева не было превращением Савла в Павла, как это стремятся иногда показать леонтьевские биографы.

Он всенощной от ранних лет
Любил «вечерний тихий свет».

Став же православным, верующим «в среду и в пятницу», не переставал влюбляться, писать романы, алкивиадствовать.

Болезнь, настигшая его в 71 г. в Салониках, ужас смерти и обет уйти в монахи в случае излечения, имели свою предысторию: «В 48 году юношей-гимназистом 17 лет он летом, на вакации, в Кудинове заболел холерой. Доктор решил, что он не встанет. К. Н-ч захотел причаститься. Привезли к нему о. Дмитрия. К.Н-ч говорил, что о. Дмитрий был тронут до слез искренностью пламенной его исповеди и глубокой верой, что он переходит в другую жизнь. Вылечил его крестьянин-самоучка».

Потом был Московский университет, медицинский факультет, оконченный на год раньше из-за Крымской кампании, знакомство с Тургеневым, первые произведения. Общение с мэтром сыграло немаловажную роль — у Тургенева Леонтьев искал подтверждения: имеет ли он право мыслить и чувствовать так? Тургенев оценил лиризм и образность молодого литератора, поддерживал его первые публикации, но вскоре начал охладевать к нему. «Впоследствии, когда он увидел, вероятно, что этот собственный стакан мой, вместо того, чтобы перерождаться в какую-нибудь серебряную, золоченую “ендову” или в изящную вазу Севрского фарфора, — очень долго остается неважной кружкой, осыпаемой фальшивыми рубинами и алмазами, которые хозяин, видимо, принимает за настоящие, — он основательно отрешился от этих надежд своих».

Медицина не очень вдохновляла Леонтьева, на медицинский факультет попал он по обстоятельствам и со смирением, но не хотя резал трупы и проводил по заданию профессора физиологический эксперимент над бедным голубем, уколотым в мозг иглою. Попад на поле боевых действий, оживился — подробности и детали всегда интересовали его. Кроме того — упоение молодостью, опасностями, любовные увлечения. Хотел даже быть раненым в лицо (но чтоб не сделаться уродом!) «Вчера, к неопишуемому собственному удивлению, — пишет он матушке из Еникале, — сделал ампутацию в первый раз и, пока еще не остыло первое ожесточение, постараюсь сделать на днях еще пару». «Все болит у древа жизни», — обобщит потом Леонтьев свой медицинский опыт. «Медицину он терпеть не мог, т.е. именно невольную свою профессию. Но к больным относился с искренним состраданием, а пустой чувствительности к ним ни в ком не терпел», — заметит племянница.

Еще на войне, а по окончании ее в имении баронов Розен в Нижегородской губернии, куда устроился домашним лекарем, пишет посланный в Министерство Народного Просвещения и, естественно, канувший в Лету министерских архивов труд: «Записку об основании особой учебницы естествоведения на Южном берегу Крыма, в Казенном ботаническом Саду, называемом Никитским». Задача была та, что нигде почти в мире нельзя найти таких удобств для живого и наглядного изучения природы, как на Южном берегу Кры-

ма (море, горы, дикие леса и близость степи в Крыму же, сады, тепличная флора, богатая воздушная, альпийская на высотах; обилие перелетных птиц и рыбы; возможность содержать лучше, чем в столицах животных самого противоположного климата, ибо на горе — наверху холодно, а у моря жарко; садки для морских животных и т.д.; необыкновенное обилие этнографических и антропологических данных, черепа, могилы и т.д. Сверх того обращено было внимание и на нравственно-религиозное влияние тихой и здоровой местности на учащихся будущих профессоров; отсутствие столичной злобы, нужды и пустоты)».

В 1861 г. Леонтьев венчается с Лизой Политовой — скромной и малообразованной девушкой, с которой он познакомился в Феодосии во время войны, умыкнув ее из семьи греков-купцов. Лет через 7 после замужества ее настигло прогрессирующее умственное расстройство, и забота о впавшей в детство жене, растрепанной, ходив-

шей с большой куклой, стала одной из тем жизни К.Н. Забота о пропитании и борьба с нуждой — другой, не менее существенной.

Поиск средств к существованию приводит Леонтьева в Азиатский департамент Министерства иностранных дел, и в 1863 году он получает назначение на остров Крит секретарем посольства. Еще до отъезда, в Петербурге, он пишет своему другу-недругу Н.Н. Страхову, обещая ему статьи, в которых выразятся

**В «ВИЗАНТИЗМЕ»
ЛЕОНТЬЕВА ВОСКРЕСАЕТ
УВАРОВСКАЯ ТРИАДА
«ПРАВОСЛАВИЕ.
САМОДЕРЖАВИЕ.
НАРОДНОСТЬ», К НЕЙ
ДОБАВЛЯЕТСЯ ЕЩЕ
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭЛЕМЕНТ –
ПОЭЗИЯ И ЭСТЕТИКА
ЖИЗНИ.**

убеждения в том, «1) что прекрасное важнее полезного; 2) что широкое развитие важнее счастья; 3) что только на почве зла вырастает добро и великие личности; 4) что лучше война, поэтические суеверия и доблестные предрассудки, чем всеобщая бесцветность... 5) что народность (нам особенно) нужнее демократической гуманности». Теперь полностью издана дипломатическая переписка Леонтьева, его донесения. За 10 лет дипломатической службы он проходит путь от переводчика, секретаря до консула. Константинополь. Адрианополь. Тульча. Янина. Салоники. Афон. Снова Константинополь.

Дипломатические донесения пишутся «на полях» литературного творчества. «Если бы в прозе нашей русской можно было бы писать так, как мне хочется!» «О дымок, дымок мой! Серый дымок над нагими садами зимы!..» Излив на читателя почти целую страницу никак не связанных между собой чувств и впечатлений (этим фрагментом насла-

ждался потом писатель Борис Зайцев), он заключает: «Вот как желал бы я долго и много писать. Так писать мне приятно. Но кто станет читать меня, если я так напишу длинную повесть любви и буду мечтать без всякого порядка и правил? Никто!».

Леонтьев собирался на Афон и до обращения. Рушились две империи — Османская и Австро-Венгерская, надвигалась война, тема русского присутствия на Балканах вставала особенно остро. Назначенный в Салоники консул получил специальную директиву русского посла в Турции Н. П. Игнатьева «поддерживать влияние Русского Элемента на Афоне, не возбуждая притом ни опасений и подозрений Турецких Властей, ни зависти Греческого Духовенства и других Афонских Монастырей». И Леонтьев включился в работу, познакомившись с духовниками Пантелеймонова монастыря архим. Макарием (Сушкиным) и иеросхим. Иеронимом (Соломенцевым). Мысли о монашестве стали посещать его с 1870 г.: усилилась душевная болезнь жены, умерла мать, прошла молодость. Наступило время подумать о «прочем времени живота своего», о плавании по морю житейскому, «бурею напастей воздвигаемому». Леонтьев долго собирается на Афон, даже возвращается с дороги, занемогши. Исцелившись с помощью Божьей Матери от болезни, он отбывает на Афон немедленно. Вернувшись в Салоники с Афона в августе 1871, он бросил в камин все рукописи из своего чемоданчика: «Многое множество из написанного мною за это время сжег из ненасытного желания достичь все высшего и высшего идеала».

В России уже был писатель, религиозное обращение которого не принесло покоя, зато уменьшило количество томов в его собрании сочинений. Это был Гоголь.

«Уничтожь в себе волю! Ты хочешь спать? Звонят к заутрене в полночь. Ты хочешь есть? Потерпи. Ты хочешь разговаривать вечером с другом, особенно если ты молод? Старый батюшка, старший духовник, обходит коридоры и стучит в вашу дверь, предлагая разойтись и не договариваться по неопытности до предметов, которые могут после смутить вас и быть вам вредны. Хочешь ты прочесть новую книгу? Без благословения нельзя». Леонтьев находит узду, которой смутно искала его бурная, мятежная, романтическая душа. Свои прежние романы и повести он называет теперь «тонко-развратными», но не отрекается от них, замечая в письме к Страхову: «Соединение женолюбия с религиозностью не есть признак одного дурного воспитания и варварства или, напротив, развращенности и подражания. Это свойственная нам национальная черта, которой еще не сумела овладеть наша робкая литература». Продолжается жизнь, а поэтому продолжается



творчество, только теперь Леонтьев-публицист дополняет Леонтьева-романиста.

«Византизм и Славянство» гораздо важнее моих Восточных акварелей», — скажет Леонтьев о небольшой своей брошюре, которую он начал писать еще в Константинополе. Эта книжечка поставит его имя в один ряд со Страховым и Данилевским в России, изложенные в ней идеи будут сопоставлять с высказанным Шпенглером и Тойнби в XX веке. Позитивистское предпочтение развития прогрессу, шеллинговская идея органического дифференцирования, усложнения организма в процессе его внутреннего развития, аристотелевская теория формы, осмысленной как «деспотизм внутренней идеи», становящийся популярным пессимизм Шопенгауэра и Эд. Гартмана, позволяющий осмыслить боль как категорию социальную (эту тему потом будет разрабатывать Э. Юнгер, немец, близкий Леонтьеву по духу).

Цивилизации у Леонтьева подобны организмам, они живут, растут и умирают в отведенный им исторический промежуток времени. Чем сложнее форма, чем больше «разнообразие в единстве», тем выше место цивилизации на «колесе обозрения» отпущенного ей исторического бытия. В огромной череде мыслителей от Платона до Питирима Сорокина, отмечавших существенную необходимость неравенства для общества, Леонтьеву принадлежит почетное место «поэта неравенства».

В «византизме» Леонтьева воскресает уваровская триада «Православие. Самодержавие. Народность», к ней добавляется еще четвертый элемент — поэзия и эстетика жизни. Она есть выражение той самой «цветущей сложности», которая приходит на пике развития. С ее помощью Леонтьев надеялся быть понятным «даже

образованным китайцам», видя в них, между прочим, тех «гогов и магогов», которые должны быть для нас и для Европы «казнью Божьей», предшествующей не столь далекому апокалипсису.

В пику панславистам Леонтьев не ждет ничего хорошего от освободившихся славян: чехи — те же немцы, болгары простоваты, сербы раздроблены и все демократы... Ненависть к европейскому сюртуку и машинной цивилизации у него не имеет границ и становится *idée fixe*. Либо нас ожидает великая русская будущность, либо мир падет во прах: «Все человечество старо, не молоды и мы», — скажет он незадолго до смерти. Поэтому заглавие леонтьевской работы следует читать так: «Византизм или славянство», «победа или смерть»!

Каткову работа не понравилась, как не понравился и его старый автор в новом подряснике. Он не стал печатать ее в «Русском вестнике», по своей тенденции мысль отставного дипломата во многом не совпадала с политикой Министерства иностранных дел. Как радовался Леонтьев, что на Афон за 5 лет приехало 200 образованных русских паломников. Греков во много раз меньше. Светское общество не испытывало особой тяги к монастырям, предпочитая ритуальные говения в приходских церквях на Пасху и на Рождество. «Светские богословы» Хомяков, Достоевский, Вл. Соловьев были гораздо более «по зубам», чем проповедь «страха Божия» от укоренившегося «около церковных стен» интеллигента. Публицистика Леонтьева — «чистый понедельник» после излишеств «сырной седмицы», в просторечии именуемой Масляной. Но и в пост бывают свои послабления.

Консерватору страшны не столько либеральные учреждения, сколь сама человеческая свобода, в которой видится не дар Божий, но причина греховности, подлежащая обузданию. Учреждения должны стать уздой, и вся дума Леонтьева о том, как еще возможно «подморозить Россию». «Чтобы не гнила», — добавляет он. Не найдя себя в монастыре (неудачным был опыт послушничества в Николо-Угрешском монастыре в зиму 1874–1875 г., тайный постриг он примет в Оптиной пустыни 18 августа 1891 г., за 3 месяца до кончины), Леонтьев ищет практических приложений своим охранительным амбициям. Но разве может должность помощника редактора Варшавского дневника или даже место цензора устроить того, кто, по словам В.В. Розанова, был «Кромвель без меча, без тоги, без обстоятельств... диктатор без диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке, да еще “в дураки”»? Леонтьев радуется контрреформам Александра III, надеясь, что удастся оттянуть крах России еще лет на 50. Вслед за Вл. Соловьевым начинает думать о путях «римской» централизации, видя в папстве

институт, оставшийся от милой ему средневековой Европы. Он и туфлю Льву XIII не отказался бы поцеловать!

Живя последние 5 лет в «консульском домике» у стен Оптиной пустыни и беседуя со старцем Амвросием, Леонтьев начинает читать «Капитал» Маркса. Может быть в «грядущем рабстве» социализма явится новая организующая идея, новый тип неравенства? Леонтьев мечтает о новом Константине, православном царе во главе социалистического движения. «Социализм скоро оставит свои инзуррекционные приемы и сделается орудием новой корпоративной, сословной, градативной не либеральной и не эгалитарной структуры государства», — пишет он Т.И. Филиппову. — Он вынужден будет сочетаться с сохраненными консервативными историческими началами так или иначе, видоизменяя их и видоизменяясь сам, и либерализм, индивидуализм, меркантилизм и все тому сродное будет раздавлено между историческими остатками и передовым историческим порывом». В пророческих гаданиях Леонтьева отчетливо вырисовывается будущее сталинской России, вплоть до отступления официального атеизма в конце войны. Просвечивает в них и образ «нового средневековья», чаемый Бердяевым и Флоренским на излете религиозного «ренессанса».

В 1924 г. о. Сергей Булгаков говорил о том, что только Вл. Соловьев и Леонтьев оказываются «не безответны перед совершившимся, которого не видели ни славянофилы, ни Достоевский...»

В 1929 г., когда маховик тоталитарных режимов набирал свои обороты, поэт Георгий Иванов вспоминал о предсмертных думах монаха Климента: «Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, как вокруг медиума, “потрескивает” в воздухе. В щели патриархальных “графских номеров” дует ледяной ветер метафизики».

В 1931 г., 40 лет спустя после кончины Леонтьева, Сергей Дурьлин, хранитель архива Леонтьева, предостерегал потенциального читателя: «Красота если не сожжет, то обожжет, спалит, и уж он не будет “как все”, — тогда прощай житейское удобство, “социальная закономерность” и благонадежность! Ах, с Леонтьевым, даже не со страницей, а с клочком Леонтьева, даже со строчкой иной, — такие встречи опасны!»

«Леонтьев вообще действовал, как пощечина», — скажет В.В. Розанов, наверное, вспомнив о пощечине, данной дипломатом французскому консулу Дерше за его нелестные слова о России...

Лев Толстой любил «этого разбивателя стекол».

Что скажет Леонтьев нашему времени? Что скажет время о нем? Совпадет ли «творческий ландшафт» его мысли с «ландшафтным дизайном» современной России?